

А вот третья сестра, младшая из всех (тише, о ней говорят только шепотом)... Царство ее невелико, и ни одна плоть не может существовать в нем; власть в этом царстве она не делит ни с кем. Голова ее, увенчанная короной, подобна башне, как у Кибелы, и возносится ввысь, куда с трудом проникает взгляд. Она никогда не склоняется. Глаза ее устремлены вверх и *могут* быть не видны издали, но, будучи тем, что они есть, они не могут быть сокрыты; сквозь тройную траурную вуаль, которую она носит, пронзительный свет обнаженного горя, не упокоивающегося ни утром, ни вечером, ни в полдень, ни в полночь, ни во время прилива, ни в час отлива, легко различим даже с земли. Она не покоряется Богу. И еще, она мать безумия и покровительница самоубийц. Глубоко проникают корни ее могущества, но малочислен народ, которым она правит, поскольку ей открыт доступ лишь к тем, чья внутренняя природа перевернута с ног на голову страшными конвульсиями, к тем, в ком сердце трепещет, а мозг колеблется под ударами внешних невзгод и внутренней бури. Мать двигается осторожно; быстро ли, медленно ли, но шаг ее всегда исполнен трагической грации. Мать Вздохов подкрадывается исподтишка, по-воровски. Но ее младшая сестра движется непредсказуемо, скачками, тигриными прыжками. Она не носит ключей; нечасто являя себя людям, она, подобно урагану, вышибает двери, в которые ей позволено войти.

Имя ее — *Mater Tenebrarum*, Мать Тьмы.

Томас де Куинси.
«Левана и Три Матери Печали»
Suspiria de Profundis

1

ОДИНОКИЙ крутой холм под названием Корона-Хайтс был черен, как смоль, и совершенно безмолвен, как сердце незнакомца. Он неотрывно смотрел вниз, на северо-восток, в сторону нервных, ярких огней центра Сан-Франциско, словно огромный ночной хищник, терпеливо ищущий добычу на своей территории.

Растущая луна, которой оставалось лишь немного пополнеть, чтобы превратиться в правильный диск, уже зашла, и звезды на вершине черного небосвода сохраняли бриллиантово-четкую яркость. На западе низко стелились волны тумана. На востоке же, за деловым центром города и тоже укрытой туманом бухтой, вдоль вершин невысоких холмов за Беркли, Оклендом, Аламедой и отстоящей еще дальше горой Дьявола (Маунт-Дьябло), тянулась узкая призрачно светящаяся лента, предвещавшая близкую зарю.

//////////

Потускневшие к исходу ночи огни улиц и домов Сан-Франциско боязливо, будто и впрямь имели дело с опасным зверем, со всех сторон окружали Корона-Хайтс. А вот на самом холме не было ни единого огонька. Снизу было бы почти невозможно различить его зазубренный хребет и причудливые утесы, венчающие вершину (которых избегали даже чайки) и то тут, то там вырастающие из грубых бесплодных склонов, которые лишь изредка ощущали прикосновения тумана, но месяцами не видели дождя.

Однажды, когда алчность наберет еще бо́льшую силу, чем сегодня, а благоговение перед перевозданной природой еще больше ослабнет, холм, возможно, снесут бульдозерами, но пока что он вполне был способен породить панический ужас.

Холм был слишком дик и бесформен для обычного парка, но все же на нем, вопреки здравому смыслу, устроили спортивную зону. Действительно, там имелось несколько теннисных кортов, травянистые лужайки скромных размеров, невысокие здания и неширокая полоса крепких сосен вдоль подножия, вокруг его основания, и над всем этим грубо и презрительно-отчужденно возвышалась обнаженная гора.

И теперь что-то вроде бы зашевелилось в густой тьме. Трудно сказать, что именно. Воз-

можно, одна или несколько городских диких собак, способных сойти за ручных, невзирая на то, что уже не одно поколение их предков вело бездомную жизнь. (Если вы в большом городе видите собаку, занимающуюся своими делами, никому не угрожающую, ни перед кем не заискивающую, ни к кому не пристающую — словом, ведущую себя как добропорядочная горожанка, имеющая работу и не имеющая времени на всякие глупости, — и если у этой собаки нет бирки или ошейника, то можете не сомневаться, что это не хозяин у нее нерадивый: просто она дикая и хорошо приспособленная к своему образу жизни.) Возможно, какое-то более неистовое и скрытное животное, никогда не подчинявшееся власти человека, но жившее рядом с ним почти незамеченным. Возможно, мужчина (или женщина), настолько погрязший в дикости или психозе, что ему (или ей) стал не нужен свет. Или, может быть, просто ветер.

И вот восточная полоса сделалась темно-красной, все небо, с востока на запад, посветлело, звезды померкли, и Корона-Хайтс явил миру свою скореженную, сухую, бледно-коричневую поверхность.

Однако сохранялось впечатление, что холм забеспокоился, выбрав, наконец, свою жертву.

2

ДВА ЧАСА СПУСТЯ Франц Вестен посмотрел в открытое окно на раскрашенную ярко-красным и белым тысячефутовую телебашню, возвышающуюся в лучах утреннего солнца из сугроба снежно-белого тумана, который все еще полностью скрывал находящиеся в трех милях Сатро-Крест и Твин-Пикс, но уже сполз с бледно-коричневого горба Корона-Хайтс. Телебашня (ее можно было бы назвать сан-францисской Эйфелевой башней) была широкоплечей, с тонкой талией, и длинноногой, как красивая и стильная женщина (или полу-богиня). В наши дни она служила связующим звеном между Францем и вселенной, точно так же, как человеку надлежит быть связующим звеном между атомами и звездами. Разглядывать ее, восхищаться ею (почти благоговеть перед нею) было его неизменным утренним ритуалом приветствия вселенной, его подтвержде-

.....

ем того, что их общение продолжается, после чего он готовил кофе и возвращался в постель с планшетом и блокнотом, чтобы приступить к ежедневной работе по написанию рассказов в жанре сверхъестественного ужаса — в частности, его хлеб с маслом, сочинению новеллизаций телепрограммы «Странное подполье», дабы зрительская кожда могла еще и почитать, если желание появится, книжки, наполненные чем-то вроде смеси колдовства, Уотергейта и щенячьей любви, которой ее пичкали с телеэкранов. Где-то с год назад он в этот час сосредоточился бы на своих несчастьях и стал бы беспокоиться о первой за день рюмке (удастся ли выпить ее сейчас или все выпито прошлой ночью?), но это, как говорится, было давно и неправда.

Вдали слабо перекликались друг с дружкой мрачные туманные сирены. Мысли Франца ненадолго метнулись на две мили за спину, туда, где залив Сан-Франциско окутывает еще более мощное одеяло тумана, из которого торчат лишь четыре вершины пилонов первого пролета моста, ведущего в Окленд. Под этой поверхностью, от которой тянуло ледяным холодом, даже если ее не видеть, прятались потоки извергающих вонючий дым нетерпеливых автомобилей, болтливые корабли и слышный ры-

бакам на маленьких лодках сквозь глубины вод и грязное дно жуткий рев катящихся по трубе поездов БАРТ¹, которые перевозят на работу основную массу пассажиров.

В его комнату проникали танцевавшие в морском воздухе веселые, сладкие ноты менуэта Телемана, звучащие из магнитофона Кэл двумя этажами ниже. Ведь она поставила эту запись, чтобы порадовать его, сказал себе Франц, хоть он и старше ее на двадцать лет. Он посмотрел на написанный маслом портрет своей покойной жены Дейзи, висевший над кроватью рядом с рисунком телебашни, выполненным паутинными черными линиями на большом прямоугольном флуоресцентном красном картоне, и не почувствовал укола совести. Три года пьяного горя (рекордные по продолжительности поминки!) стерли все это и закончились почти ровно год назад.

Его взгляд опустился от портрета на все еще наполовину неубранную кровать. На нетронутой половине, той, что ближе к стене, лежали длинная, пестрая куча журналов, издания научной фантастики в мягкой обложке, несколько

¹ BART (Bay Area Rapid Transit) – «Скоростная система Зоны залива», система метрополитена в городах Сан-Франциско и Окленд.

еще не освобожденных от упаковки детективных романов в твердом переплете, парочка ярких салфеток, привезенных домой из ресторанов, с полдюжины блестящих маленьких «Золотых путеводителей» и книжки «Познание через цвет». Все это служило ему развлекательным чтением (тогда как рабочие материалы и справочники были разложены на журнальном столике рядом с кроватью), эти книги были его главными — чуть не единственными — компаньонами на протяжении трех лет, когда он валялся, в дугу пьяный, тупо таращился на телевизор в другом конце комнаты и то и дело принимался листать их, бездумно рассматривая яркие, легкие странички. Лишь месяц назад ему вдруг пришло в голову, что их веселая случайная россыпь складывается в стройную фигуру беззаботной женщины, лежащую рядом с ним поверх одеяла, оттого-то он никогда и не клал их на пол, оттого-то он и довольствовался половиной кровати, оттого-то и сложил из них произвольно нечто вроде женской фигуры с длинными-длинными ногами. По аналогии с «голландской женой» — длинными тонкими валиками, которые в тропических странах кладут в изножье кровати, чтобы ноги лежали на них и не так потели, — он назвал получившееся «Любовницей Ученого», что означало тайную

для окружающего мира подружку по играм, лихую, но прилежную девушку по вызову, стройную сестричку, не боящуюся развлечения в виде кровосмесительной связи, вечную спутницу его писательского творчества.

Бросив ласковый взгляд на нарисованную маслом умершую жену и с теплым вожделением думая о Кэл, продолжавшей ради него насыщать утренний воздух нотами прекрасной музыки, он негромко, с заговорщической улыбкой, обратился к стройной кубистической фигуре, занимавшей всю внутреннюю часть кровати: «Не волнуйся, дорогая, ты всегда будешь самой дорогой моей девочкой, правда, мы никому ничего об этом не скажем», — и отвернулся к окну.

Именно телевизионная башня, вся такая современная, стоящая вон там, на Сатро-Крест, все еще глубоко погружающая в туман три длинные ноги, снова первой подсекла его на крючке реальности после продолжительного побега в пьяные сны. Поначалу башня с ее большими красно-белыми конечностями на фоне голубого неба (или, как сейчас, торчащими из тумана) казалась ему невероятной кричащей дешевкой, еще более чужеродной, чем небоскребы в этом некогда самом романтичном из городов, непристойным воплощением вопиющего мира продаж и рекламы, олицетворением наихудшего из

возможных применений американского флага, вроде полосок барберпола и мясистых толстых казенных звезд перед ним. Но через некоторое время она, вопреки его воле, начала впечатлять его своими мерцающими по ночам красными огнями (Ох, сколько же их! Он насчитал девятнадцать: тринадцать постоянных и шесть мигающих), затем ненавязчиво привлекла его интерес к другим далям городского пейзажа и к настоящим звездам, находящимся так далеко за его пределами, а в удачные ночи и к луне, пока он не стал, несмотря ни на что, снова страстно интересоваться всем сущим. И этот процесс не прервался и продолжался. До тех пор, пока Сол не заявил ему на днях:

— Сомневаюсь, что стоит радостно встречать каждую новую реальность. Можно ведь столкнуться и с чем-то таким, что вовсе не обрадует.

— Хорошо сказано, как и подобает служителю психиатрической больницы, — ответил Гуннар.

А Франц тут же откликнулся:

— А что? Такого полным-полно, куда ни плюнь. Концлагеря. Микробы чумы.

— Я не имел в виду такие крайности, — сказал Сол. — Я, скорее, думал о том, с чем некоторые из моих парней сталкиваются в больнице.